

НЪЧТО О ПОЛЕМИКЪ

(Письмо въ редакцію «Времени»)

Въ настоящее время въ журналахъ много полемики. Поговоримте о полемикѣ.

У меня есть пріятель, человекъ немножко лѣнивый, но весьма любознательный. Къ сожалѣнію, главнымъ источникомъ мудрости для него служатъ русскіе журналы. Пока не раздаются бранные клики, онъ довольно спокойно наслаждается произведеніями нашихъ писателей; но какъ скоро начинается полемика, онъ почти всегда приходитъ въ волненіе и негодованіе. «Помилуйте! восклицаетъ онъ; вмѣсто того, чтобы разъяснять дѣло, они только стараются наговорить другъ другу какъ можно больше неприятностей. Любопытнѣйшій вопросъ, а нѣтъ никакой возможности узнать, какъ разрѣшить его. Читаешь, читаешь и кончишь тѣмъ, что повѣришь взаимнымъ увѣреніямъ противниковъ въ ихъ тупоуміи и невѣжествѣ!» Не берусь рѣшить, справедливо ли это мнѣніе или нѣтъ; замѣчу только, что оно очень распространено у насъ. Многіе пришли къ странному убѣжденію, что полемика роняетъ въ глазахъ публики обѣ спорящія стороны, что отъ обоюднo-наносимыхъ ударовъ остаются только раны и увѣчья, но нѣтъ ни славы, ни побѣды. И вотъ почему литераторы, въ видахъ взаимнаго своего сохраненія, часто совѣтуютъ избѣгать полемики, какъ вещи во всякомъ случаѣ вредной.

Я говорю — это странное мнѣніе. Потомучто полемика въ настоящемъ своемъ смыслѣ есть не только вещь хорошая, но и необходимая, неизбежная. Что дурная полемика вредна, это другое дѣло; и что у насъ полемика очень дурна, въ этомъ конечно нѣтъ ничего изумительнаго и съ этимъ всякій согласится.

И такъ есть разные роды полемики и между ними нужно дѣлать строгое различіе. Настоящая полемика есть борьба идей, взглядовъ; къ сожалѣнію, таковой у насъ не имѣется. Но есть другая полемика, другой сортъ полемики, который представляетъ борьбу лицъ, кружковъ —

таковая у насъ въ изобиліи. Вотъ мои главныя положенія, которыя я постараюсь развить.

Полемика идей есть дѣло необходимое и полезное. Какъ скоро взгляды расходятся, борьба между ними неизбѣжна, и служитъ ко взаимному уясненію. Если у насъ являются только рѣдкіе и слабые слѣды такой борьбы, то это вполнѣ удовлетворительно объясняется тѣмъ, что полемика идей есть дѣло необыкновенно трудное. Хорошая полемика такого рода есть истинная драгоцѣнность, и значительные образцы ея только изрѣдка встрѣчаются въ самыхъ развитыхъ литературахъ. Отчего такъ, вы сейчасъ увидите, если примете во вниманіе, какихъ тяжкихъ и неудобноисполнимыхъ условій требуетъ хорошая полемика.

Первое условіе — нужно понимать мысль своего противника. Это условіе, какъ оно ни трудно, иногда исполняется; но у насъ исполненіе его встрѣчаетъ почти непреодолимая трудности.

А *второе* условіе подобно первому: нужно понять мысль противника *лучше*, чѣмъ понимаетъ ее самъ противникъ; потому что нужно отвѣчать на эту мысль, судить ее. Вотъ это второе условіе, изъ котораго вытекаетъ, что истинная полемика есть прогрессъ, движеніе мысли впередъ, — это условіе уже рѣшительно почти нигдѣ не соблюдается.

Эти условія могутъ показаться легкими только человѣку несвѣдущему и неопытному. Въ сущности они чрезвычайно тяжелы.

Понимать вообще есть дѣло страшно трудное. Люди не только не понимаютъ чужихъ мыслей, но, по справедливому замѣчанію, которое право не я сдѣлалъ, они часто не понимаютъ своихъ собственныхъ мыслей. Обратитесь къ житейскому опыту: что движетъ людьми, что ихъ воодушевляетъ и заставляетъ дѣйствовать? Страсти, желанія, привычки, предрасудки, все что вамъ угодно, но только не ясное сознаніе. Точно тоже бываетъ и тогда, когда люди мыслятъ. Разглагольствуетъ ли кто-нибудь въ обществѣ или чертитъ перомъ по бумагѣ, — его перомъ или языкомъ управляютъ страсти, желанія, привычки и предрасудки: и чѣмъ сильнѣе они его вдохновляютъ, тѣмъ быстрѣе сыплются слова съ языка, тѣмъ быстрѣе ходитъ его перо; но въ

заключеніе, все–таки онъ самъ хорошенько не понимаетъ, что онъ пишетъ или что говорить. Все это не такъ дурно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Потомучто такимъ образомъ можно писать серьезныя статьи, или стихи и повѣсти, даже издавать журналы или энциклопедическіе словари, совершенно не понимая, что такое самъ дѣлаешь. Пониманіе задержало бы всю эту дѣятельность и слѣдовательно лишило бы насъ ея плодовъ.

Но если трудно понимать себя, то еще труднѣе понимать другихъ. И если возможно, не понимая своихъ собственныхъ мыслей, исписать очень много бумаги, то, къ несчастію, не понимая чужихъ мыслей, невозможно произвести ни одной строчки хорошей полемики. Теперь примите въ соображеніе ту разрозненность умовъ, которая господствуетъ у насъ и о которой я вамъ уже писалъ, припомните стремленіе каждаго изъ нихъ мыслить самостоятельно, самобытно, и вы легко убѣдитесь, что полемики идей у насъ и ожидать трудно. Недавно открылся фактъ, который, признаюсь, я давно подозрѣвалъ, и который весьма важенъ для настоящаго періода нашей литературы. Именно оказалось, что наши журналисты не читаютъ другъ друга. При такомъ положеніи дѣла, въ литературѣ можетъ господствовать всевозможная безсвязица и разноголосица, совершенный хаосъ, а ужъ никакъ не борьба. Я знаю, что эти господа при этомъ опирались на высокое мнѣніе о собственной проницательности. Мы–де и не читаемъ другихъ, а понимаемъ ихъ насквозь! Но, по вышеизложеннымъ причинамъ, то есть по трудности такого дѣла, какъ пониманіе, я мало склоненъ довѣрять такой необыкновенной проницательности. Я замѣчаю только, что излишняя самоувѣренность въ себѣ есть именно признакъ непониманія другихъ. Кто думаетъ, что онъ одинъ уменъ, а всѣ другіе глупы, тотъ очевиднѣйшимъ образомъ не понимаетъ другихъ и почти столь же очевидно не понимаетъ и себя.

Ко всему этому необходимо прибавить, что и самый принципъ пониманія совершенно чуждъ нашей полемикѣ. Мы стараемся не уяснить себѣ мысль противника, а напротивъ, затемнить ее какъ можно больше, сдѣлать изъ нея не мысль, а нелѣпость, запутать и исковеркать ее на сколько хватить силы. И тотъ у насъ молодецъ, кто всѣхъ больше

на это мастеръ. Каждый хлопочеть всѣми средствами превратить своего противника изъ человѣка способнаго сказать что-нибудь разумное, въ глупца, способнаго произносить только одни безсвязныя слова. Наша полемика состоитъ не въ пониманіи мыслей другихъ, но въ ихъ искаженіи; въ ней нѣтъ никакого желанія подняться, и тѣмъ стать выше другихъ, но господствуетъ постоянное стремленіе — столкнуть другихъ ниже себя. Фантастическое и бесплодное занятіе!

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ понятно, почему полемики идей у насъ очень мало, чтобъ не сказать, что совсѣмъ нѣтъ. Зато тѣмъ сильнѣе у насъ личная полемика. Можетъ-быть при этихъ моихъ словахъ вами овладѣетъ нѣкоторое недоумѣніе. Ужели возможна, скажете вы, полемика лицъ? Если она основана не на идеяхъ, то на чемъ же она можетъ основаться? Если люди не понимаютъ другъ друга, то какъ же они могутъ спорить?

Но то, что такъ трудно въ теоріи, легко на практикѣ. Всѣ говорятъ разомъ, никто другъ друга не понимаетъ и не слушаетъ... помилуйте! да это обыкновеннѣйшее дѣло въ мірѣ, и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что оно въ широкихъ размѣрахъ повторилось и въ нашей литературѣ.

Наблюдая за тѣмъ, какъ дѣлается у насъ это важное дѣло, я собралъ нѣкоторыя замѣчанія, которыя и сообщу вамъ. Poleмика идей опирается на идеяхъ; но, спрашивается, на чемъ опирается полемика лицъ? Отвѣчаю — на авторитетѣ лицъ, или, если полемика ведется отъ лица журналовъ, то на авторитетѣ журналовъ. Въ борьбѣ идей господствуетъ власть общихъ началъ; въ полемикѣ лицъ — грубая сила частныхъ мнѣній. Орудіемъ для борьбы идей служитъ мысль; орудіемъ въ полемикѣ лицъ служитъ попреимуществу слово. Цѣль борьбы идей есть уясненіе мыслей; цѣль личной полемики — пониженіе авторитетовъ.

Полемика лицъ и кружковъ состоитъ въ томъ, что писатели или журналы отзываються презрительно или высококомѣрно, насмѣшливо или бранно о другихъ писателяхъ и о другихъ журналахъ, или вообще о

каких-нибудь лицахъ; но притомъ такъ, что причины отзыва выставляются въ такой малой мѣрѣ, въ какой заблагоразсудится автору; на примѣръ можетъ быть вовсе не выставлено причинъ. Главное здѣсь — лицо или журналъ, а не мысль. Общая формула этой полемики такая: *такой-то отдѣлалъ такого*. Такъ какъ насмѣшка или брань безъ видимой опоры не составляетъ собственно сужденія или отзыва, то въ послѣднее время очень удачно введено въ употребленіе слово *свистать*. Свистать не значить излагать свои разсужденія, или произносить надъ чѣмъ-нибудь свое сужденіе; свистъ не имѣетъ въ себѣ никакой опредѣленности, свойственной словамъ или мыслямъ. Поэтому высшее и вполнѣ вѣрное выраженіе личной полемики есть свистъ.

Вы видите, что личная полемика представляетъ несравненно большую простоту, чѣмъ полемика идей. Здѣсь не нужно искать общихъ началъ; не нужно понимать мысли противника, и если бы какъ-нибудь случилось, что она была понята, не нужно искать на нее отвѣта. Понятно, что наша юная литература гораздо съ большимъ успѣхомъ могла подвизаться на поприщѣ этой полемики, чѣмъ на поприщѣ полемики идей. И дѣйствительно, нѣкоторые журналы дали личной полемикѣ значительное развитіе. Свои фельетоны, критики, рецензіи, внутреннія обозрѣнія они стали пересыпать всевозможными литературными и нелитературными именами, древними и новыми, щипля и терзая ихъ всяческимъ образомъ. Въ этомъ же духѣ было написано множество стихотвореній. Весьма любопытно бы было, если бы журналы, систематически занимающіеся подобнымъ упражненіемъ, рѣшились дать ему надлежащую выпуклость и законченность. Можно было бы завести у себя особый, самый убійственный отдѣлъ, подъ грознымъ заглавіемъ:

БРАНЬ

и писать въ этомъ отдѣлѣ краткія и выразительныя статьи такого содержанія:

Статья 1. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статья *такого то* — отвратительная чушь.

Статья 2. Мы нашли въ «Отечественныхъ Запискахъ» статью такого-то. Непроходимая дичь!

Статья 3. Въ «Современникѣ» читатели встрѣтятъ статью такого-то. Какая невообразимая ерунда!

Статья 4. Появилась въ «Русскомъ Словѣ» статья такая-то. Господи, какъ глупы-то бываютъ люди! и т. д.

Сомнѣваться здѣсь нечего. Такіе отзывы имѣли бы за себя авторитетъ того журнала, въ которомъ бы они помѣщались. А между тѣмъ, если бы дѣло велось такимъ образомъ на чистоту, безъ обиняковъ и околичностей, его теченіе и его результаты обнаружались бы гораздо отчетливѣе.

Не смотря однакоже на чрезвычайно сложныя формы, въ которыхъ свистъ является въ нашихъ журналахъ, можетъ-быть мы успѣемъ прослѣдить важнѣйшія черты этого интереснаго предмета.

Прежде всего замѣчу, что не только какой-нибудь толстый журналъ, но и самый тоненькій и неизвѣстный человѣкъ имѣетъ полнѣйшее право свистать по мѣрѣ силъ и возможности. Право на свистъ есть неотъемлемое право каждого пишущаго, и нельзя потерпѣть ни малѣйшаго его стѣсненія. Но разумѣется, извѣстный человѣкъ и извѣстный журналъ имѣетъ на свистъ больше права, по той причинѣ, что свистъ его имѣетъ больше значенія. Именно значеніе свиста строго пропорціально авторитету свистящаго. Вольтеръ цѣлую жизнь свисталъ и не безъ толку и не безъ послѣдствій. (А вѣдь какъ сердились на него, и именно за свистъ.) Журналъ съ большимъ авторитетомъ имѣетъ право мимоходомъ свиснуть на кого угодно, потомучто его свистъ обратитъ вниманіе и будетъ имѣть вѣсь. Лицо же безъ авторитета, если станетъ свистѣть, можетъ только натрудить свои легкія безъ особенной пользы для общества.

Но отсюда же видно, что свистъ, особенно въ большомъ количествѣ, есть вещь весьма опасная для того кто свищетъ.

Когда журналъ свиститъ, онъ опирается на свой авторитетъ: слѣдовательно онъ рискуетъ своимъ авторитетомъ, онъ ставитъ его на

карту и слѣдовательно можетъ сильно проигратъся. Кто мыслить и разсуждаетъ, тотъ ничѣмъ не злоупотребляетъ; кто свиститъ, тотъ можетъ злоупотреблять своимъ авторитетомъ, потомучто дѣйствуетъ бездоказательно, ибо свистъ есть бездоказательный приговоръ, бездоказательное осужденіе. Кто мыслить и разсуждаетъ, за того отвѣчаютъ его разсужденія. Кто свиститъ, тотъ самъ отвѣчаетъ за свой свистъ и подвергается опасности потерять свой свистящій авторитетъ. Есть многіе, которые сильно боятся свиста можетъ-быть и за себя, но чаще за другихъ. Что касается до меня, то я, признаюсь, еще больше боялся и боюсь за свистящихъ. Меня всегда беретъ страхъ при видѣ ихъ необыкновенной смѣлости.

Возможно ли иногда такъ легкомысленно рисковать собою!

Но такъ всегда бываетъ; если чѣмъ можно злоупотреблять, всегда найдутся злоупотребляющіе. Отыскивая причины этого злоупотребленія, я, кажется, достигъ нѣкотораго свѣта истины въ этомъ дѣлѣ. Свистящіе, мнѣ кажется, рѣшаются злоупотреблять этою громадною силою — свистомъ, только потому, что увѣренные въ громадности этой силы, придаютъ своему личному, фальшивому и потому безсильному свисту тоже огромное значеніе. Не всякій артиллерійскій подпоручикъ можетъ сдѣлаться Наполеономъ. Они безъ сомнѣнія убѣждены, что въ рукахъ ихъ находится какая-то большая сила, т. е. что напечатавши свой свистъ, они много сделаютъ въ отношеніи къ освистанному предмету. Они опираются при этомъ на нашъ старинный предразсудокъ, по которому

Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

Какое странное заблужденіе! Конечно, въ обществѣ мало развитомъ, не привыкшемъ къ печати, сама печать, т. е. печатныя буквы, уже есть сила; но не должно забывать, что въ развитомъ обществѣ печатныя буквы постепенно теряютъ свою силу и сила остается только за однимъ — за мыслью. Какая дикая мысль — воображать, что печатный станокъ самъ по себѣ имѣетъ силу! Возможно ли думать, что достаточно обладать такимъ станкомъ, для того чтобы

наносить другимъ радость и огорченіе, чтобы однихъ возвеличивать, а другихъ губить? Если бы онъ давалъ каждому, его имѣющему, такую силу, то онъ былъ бы самымъ анархическимъ и гибельнымъ изобрѣтеніемъ. По счастью, сила этого станка совершенно другая. Не много и не надолго вы можете сдѣлать посредствомъ него съ другими, но зато вы все можете сдѣлать съ собою. Вы можете погубить себя или возвеличить, но во всякомъ случаѣ посредствомъ этого драгоцѣннаго станка вы можете обнаружить себя до конца; можете напечатать и разослать по всему свѣту и свой умъ, сколько его у васъ есть, и всю свою глупость, со всѣмъ ея безобразіемъ. И потомъ уже нѣтъ спасенія и нѣтъ покаянія; топоромъ не вырубить того, что вы съ собой сдѣлали.

Возвеличить же и погубить другихъ можетъ не вашъ станокъ, а только одно — ваша мысль. Такъ должно быть, такъ бываетъ, и еще въ большей степени такъ будетъ впередъ.

Конечно однакоже, покамѣстъ будетъ то что будетъ; бываетъ на свѣтѣ много нехорошаго. Изъ того, что я сказалъ до сихъ поръ, легко видѣть, что такая полемика, какъ у насъ, можетъ существовать только при двухъ условіяхъ: 1) при большомъ уваженіи печати въ публикѣ и 2) при большомъ развитіи частныхъ авторитетовъ.

Гдѣ нѣтъ авторитетовъ, тамъ нельзя злоупотреблять ими, и гдѣ печатное не кажется святымъ, тамъ нельзя злоупотреблять печатью. Уваженіе къ печати — дѣло давно извѣстное; но что касается до силы частныхъ авторитетовъ, то ее недурно описать подробнѣе. Совершенно ясно, что наша литература имѣетъ устройство въ высшей степени монополистское. Вся она сосредоточивается въ журналахъ; каждый журналъ есть большой монополистъ, страшный богачъ, передъ которымъ отдѣльные писатели большею частью мелкіе торгаши. Слѣдовательно давить и притѣснять этихъ мелкихъ людей у насъ дѣло болѣе возможное, чѣмъ гдѣ-нибудь. А что возможно, то отчасти и дѣлается. Извѣстно, что такое монополистское устройство наша литература получила по совершенно особеннымъ обстоятельствамъ. Припомните то время, когда литература не могла имѣть болѣе трехъ или четырехъ журналовъ. Теперь это монополистское устройство

ослабѣло вслѣдствіе размноженія журналовъ, и разумѣется, съ еще большимъ увеличеніемъ числа ихъ, должно современемъ исчезнуть.

Но въ настоящее время журналъ съ авторитетомъ, все равно, фальшиво или правильно приобрѣтенъ этотъ авторитетъ — есть большой хозяинъ въ литературѣ. Съ монополіею неразлучны и всѣ злоупотребленія монополіи. Журналы чувствуютъ свою власть и иногда пренаивно ее высказываютъ. Недавно — трудно повѣрить! — одинъ журналъ требовалъ отъ нѣкотораго писателя, чтобы тотъ молчалъ, а не то грозилъ освистать его. Очевиднымъ образомъ рѣчь совершенно нелитературная, то есть нечестная. Журналъ, если понимать его литературно, не можетъ грозить, не можетъ признавать себя разбойникомъ, который кого хочетъ, того обдереть. Журналъ долженъ дѣйствовать справедливо. Онъ непременно долженъ освистать того, кого нужно освистать; и никакъ не долженъ свистать тамъ, где не слѣдуетъ.

Если же журналы грозятъ, если они явно пользуются силою монополіи, то разумѣется есть и тѣ, кто боится этой грозы, есть такіе, которые страдаютъ отъ этой монополіи. И дѣйствительно, то что не опасно для большихъ людей, можетъ быть весьма больно для маленькихъ. Но да утѣшатся эти страдальцы! Монополисты денежные наживаются злоупотребленіями; монополисты литературные отъ злоупотребленій банкротятся. Каждое несправедливое слово ложится не только на того, о комъ сказано, но и на того, кто сказалъ его. Каждая минута требуетъ отчета у монополистовъ, и если они такъ дурно употребляли свой капиталъ — авторитетъ, то настанетъ время, когда у нихъ не будетъ ни копейки⁽¹⁾.

Какъ бы то ни было, но только одинъ изъ элементовъ нашей полемики составляютъ *жалобы* на такъ называемыхъ свистуновъ, грустныя сѣтованія на ихъ неуважительность и дерзость. Признаюсь вамъ, я никакъ не могу сочувствовать этому унылому настроенію.

⁽¹⁾) Конечно такія надежды совершенная утопія; но нельзя же иногда не потѣшиться утопией.

Жалоба всегда есть причина нѣкоторой слабости, нѣ котораго упадка духа. А уныніе совсѣмъ нейдетъ къ намъ, русскимъ людямъ. Мы, какъ извѣстно всему свѣту, народъ бодрый и смѣлый. У насъ все можно, все нипочемъ. Мы — гнемъ не паримъ, переломимъ не тужимъ.

И притомъ всѣмъ намъ извѣстно отъ нѣжнаго дѣтства, что плачемъ горю не поможешь. Напрасно вы будете расточать благороднѣйшее негодование: тутъ мало благородства и высокихъ чувствъ. Въ литературѣ требуется еще нѣчто другое; нужно дѣлать, нужно работать, а иначе — горе *только* сътующимъ и плачущимъ!

Жалоба есть признаніе слабости, а слабость — дурной совѣтчикъ. Поэтому и люди жалующіеся въ нашей литературѣ нерѣдко прибѣгаютъ къ неправильнымъ мѣрамъ. Они, напримѣръ, чтобы защититься отъ своихъ противниковъ, часто хватаются за авторитеты, ища спасенія подъ ихъ же крыльями. Напрасныя старанія! Авторитеты не помогутъ тому, кто самъ не умѣетъ дѣйствовать. Точно такъ недавно еще можно было подумать, что нѣкоторые наши литераторы готовы подать просьбу въ Академію Наукъ, и умолять это многоученное собраніе разрѣшить ихъ недоумѣнія. Но увы! если бы Академія Наукъ имѣла силу точно разрѣшать всѣ вопросы, — хорошо было бы жить на свѣтѣ! Академія Наукъ отлично умѣетъ опредѣлять восхожденіе и захожденіе небесныхъ свѣтилъ, но въ какое неописанное смущеніе она пришла бы, если бы мы вздумали потребовать отъ нея — опредѣлить движеніе свѣтилъ литературныхъ! Нѣтъ, Академія Наукъ намъ не поможетъ, если мы сами не умѣемъ справиться со своимъ дѣломъ!

И такъ жалобы во всякомъ случаѣ несправедливы. Если люди не умѣютъ быть довольными въ литературномъ мѣрѣ, то спрашивается, гдѣ же въ другой сферѣ они могутъ ожидать счастья? Потому что въдѣ литературный мѣрѣ есть лучшій изъ всѣхъ мѣровъ, какіе есть въ подсолнечной. Въ немъ всѣ явленія имѣютъ наиболѣе правильный, законный и твердый ходъ. Въ немъ заслуги никогда не теряются, а все дурное гибнетъ непременно. Въ немъ соблюдается тотъ утопическій законъ, что всякому воздается по его способности и всякой способности по дѣламъ ея. Я разумью здѣсь конечно не деньги — *презрѣнный*

металль, но то, что должно быть дороже для литературы, то есть славу и значеніе въ общемъ дѣль.

И такъ я становлюсь на сторону свистуновъ. Извѣстно всѣмъ, что мы издавна были вопитываемы въ страхъ къ авторитетамъ, въ почтительности всевозможной. Мы привыкли думать:

Какъ можно смѣть
Свое сужденіе имѣть?

Нѣкоторые смѣлые люди показали намъ, *какъ можно смѣть*, и вотъ мы развязали себѣ языки. Что же тутъ дурного кромѣ хорошаго? Вы не уважаете разныхъ важныхъ писателей и дѣятелей, не уважаете разные важные предметы: и прекрасно! не уважайте и высказывайте свое неуваженіе. Не нужно намъ никакого фальшиваго, поддѣльнаго, вынужденнаго уваженія!

Дѣло уяснится само собою. Вы, на примѣръ, не уважаете какого-нибудь великаго человѣка и отзываетесь о немъ дурно и непочтительно. Отчего же нѣтъ? Не забывайте только, что въ этомъ ваша бѣда, а не бѣда того, о комъ вы говорите. Потомучто вѣдь это еще вопросъ, нужно ли ему ваше почтеніе или нѣтъ. Можетъ-быть онъ и безъ него обойдется. И въ самомъ дѣль, на кой оно ему прахъ?

Уваженіе лестно для человѣка отъ тѣхъ людей, которыхъ онъ самъ уважаетъ; всякій цѣнить выше всего мнѣніе тѣхъ, кого онъ самъ высоко цѣнить. Этого мало, что вы сами на себя надѣли судейскую мантию: судьей васъ все-таки не признаютъ до тѣхъ поръ, какъ вы не будете достойны этого званія.

И такъ впередъ! Пусть всѣ высказываются, пусть всѣ говорятъ по мѣрѣ силъ и умѣнья. Только такимъ образомъ мы научимся наконецъ, что значить высказываться, и можетъ быть современемъ станемъ дорожить своимъ мнѣніемъ и не бросать его легкомысленно на вѣтеръ.

Съ удовольствіемъ можно замѣтить, что въ настоящее время этотъ прогрессъ весьма силенъ у насъ. Брань, голословное осужденіе, однимъ словомъ свистъ, не заключающій въ себѣ никакого разумнаго

соображенія, уже потеряли много значенія. Кто бы вы ни были, если вы чуть замѣтны, вы можете быть увѣрены, что въ журналахъ васъ будутъ бранить. Будутъ ли хвалить — за это вамъ никто не поручится. При такомъ положеніи, когда свищутъ разомъ на всѣхъ, отъ этого свисту никому ни тепло, ни холодно.

Но такъ и должно быть въ развитомъ обществѣ. Въ развитомъ обществѣ пустыя слова не должны имѣть никакого значенія; общество тѣмъ лучше, чѣмъ больше и исключительно оно даетъ вѣсь мысли передъ словомъ, сужденію передъ свистомъ.

И такъ мы учимся, мы совершенствуемся. Передъ нами открывается совершенно безоблачная, ясная перспектива. Иногда говорятъ, что наша критика и полемика роняетъ достойные авторитеты, топчетъ въ грязь великія имена. Какія страшныя и жалкія опасенія!

Невольно приходитъ мнѣ въ голову по этому случаю одно имя, единственное, которое я приведу въ примѣръ — имя Пушкина. Когда я произношу это дорогое имя, то передъ этою великою дѣйствительностью вся наша современная журналистика вдругъ принимаетъ совершенно фантастическій, мечтательный видъ, и мнѣ кажется, что я попалъ въ царство тѣней. Для меня становится комическою дерзость тѣхъ, кто всуе произноситъ это имя, не замѣчая, сколько вредитъ онъ себѣ своими сужденіями, и не понимая, что они не имѣютъ никакого значенія для Пушкина. Дѣло, совершенное Пушкинымъ, представляется незыблемымъ памятникомъ:

Ни вихрь его, ни громъ не сломитъ быстротечный,
И времени полетъ его не сокрушитъ.

Между тѣмъ нашлись же мечтатели, которые взялись за фантастическую работу — какъ-нибудь покачнуть или сломить эту твердыню. Они почти воображаютъ, что въ ихъ власти рѣшить судьбу Пушкина, и добросовѣстнѣйшимъ образомъ принимаются ее рѣшать; а вѣдь совершенно ясно, что судьба его таинственно заключена въ немъ самомъ и ни отъ кого не зависитъ. На Пушкина былъ направленъ въ

наши дни и чистѣйшій свистъ; но какой же маловѣрный испугается за Пушкина? Напротивъ, кто скорѣе не испугается за свистуновъ?

Какъ безопасенъ отъ нашей полемики Пушкинъ, такъ безопасно и все что имѣетъ дѣйствительную, а не фальшивую цѣну. Наша критика и полемика въ этомъ случаѣ преувеличиваетъ свою собственную силу и не замѣчаетъ всей своей слабости. Въ вашемъ журналѣ было начато перечисленіе *явленій, пропущенныхъ нашею критикою*. Вы долго еще будете ихъ перечислять. И къ этому отдѣлу вы легко можете присоединить многіе другіе, напримѣръ *явленія, искаженныя нашею критикою; явленія, преслѣдуемыя нашею критикою; явленія, захваленныя нашею критикою* и т. д. Однимъ словомъ, общій фактъ тотъ, что наша изящная литература развивается въ настоящее время помимо критики. Если посмотрѣть хорошенько, то наша изящная литература представляетъ богатое развитіе, лучшее развитіе, чѣмъ какая бы то ни была другая отрасль литературы. Частенько критика пробовала свистѣть на нашихъ творческихъ писателей, но это свистѣнье не имѣло никакого вліянія на значеніе ихъ въ публикѣ и на ихъ развитіе. Сила беретъ свое.

Есть и другая область, хотя не столь богатая у насъ, какъ область изящной литературы, но столь же мало доступная для вліянія личной полемики и свиста, — именно область науки. Труды нашихъ ученыхъ, каковы бы они ни были, имѣютъ свое настоящее значеніе только въ наукѣ, судящей ихъ безпристрастно и нелицемѣрно. Поэтому, если тотъ или другой ученый, по слабости характера, боится свиста или очень хлопочетъ о популярности, то это еще ничего не значить. У него все-таки есть твердая точка опоры, есть вѣрное прибѣжище отъ литературной бури, именно наука. Если наука его забракуетъ, то онъ погибъ дѣйствительно; если же она его признаетъ, то тутъ ужъ ничего сдѣлать нельзя: тутъ сколько ни свисти, останешься только при своемъ свистѣ.

Говорю все это потому, что широко развившаяся личная полемика задѣваетъ всѣхъ и каждого; она забываетъ свои настоящія границы и часто принимается грозить и пугать тѣхъ, кто отъ нея вполне безопасенъ.

И такъ во всѣхъ этихъ явленіяхъ, совершающихся въ нашей литературѣ, я не вижу ничего, опаснаго и даже ничего дурнаго. Все совершается естественнымъ порядкомъ; злоупотребленіе и насиліе бываетъ какъ и вездѣ; но только нигдѣ они такъ быстро не сглаживаются и нигдѣ не приносятъ такъ мало вреда.

Широкое развитіе брани уронитъ брань.

Широкое развитіе неправильной и преувеличивающей свою силу полемики, уронитъ и эту неправильность и это преувеличеніе.

Чему быть, того не миновать. Чему остаться, то останется и чему погибнуть, то погибнетъ.

Въ этихъ розовыхъ мечтахъ и надеждахъ меня не смущаетъ даже одна мрачная черта, непрерывно встрѣчающаяся въ нашей полемикѣ. Я говорю объ упрекахъ въ недобросовѣстности. Какъ бы мирно ни начался у насъ споръ, кончится онъ всегда тѣмъ, что противники станутъ упрекать одинъ другого въ недобросовѣстности. Недобросовѣстность — скверное дѣло! Но едвали можно въ этомъ случаѣ вѣрить спорящимъ. Подобные упреки есть непремѣнное слѣдствіе всякаго плохого спора, такъ что въ нихъ можно видѣть только ясный признакъ нашего неумѣнья спорить. Напротивъ, трудно представить себѣ литературу болѣе благородную, чѣмъ наша молодая литература. Недобросовѣстные писатели у насъ были; но всѣ знаютъ ихъ по пальцамъ; въ настоящее же время, за рѣдкими и всеобще презираемыми исключеніями, въ нашей литературѣ нѣтъ недобросовѣстныхъ писателей. Это намъ можно сказать громко, и этимъ мы явно можемъ гордиться. Но слишкомъ гордиться тоже не слѣдуетъ. Благородныя дѣла гораздо выше однихъ благородныхъ чувствъ. И есть, говорятъ, нѣчто хуже, чѣмъ недобросовѣстность. Простота, по нашей пословицѣ, хуже воровства. И въ самомъ дѣлѣ, хорошо ли будетъ, если то, что въ жару спора называется недобросовѣстностью, на самомъ дѣлѣ окажется другимъ, именно не болѣе, какъ разыгравшимся тупоуміемъ?

Въ нашей полемикѣ встрѣчается на каждомъ шагу и маленькая ложь, и маленькая клевета. Говорю это смѣло — *ложь* и *клевета*; ложь — потомучто вполнѣ вѣрно можно судить только о чужой мысли, а судить о лицѣ чрезвычайно трудно; клевета – потомучто дурное и неправильное мнѣніе о лицѣ, распространяемое въ публикѣ, есть клевета. Между-тѣмъ никого въ нашей литературѣ нельзя назвать лжецомъ и клеветникомъ. Все происходитъ, какъ я сказалъ, оттого, что люди не понимаютъ сами, что они думаютъ. Иной воображаетъ, что говорить остроумнѣйшую колкость и никакъ не догадывается, что эта колкость есть просто ложь, или личность. Люди бранятся и принимаютъ брань за остроуміе, ложь за обнаруженіе истины, клевету чуть ли не за геройство. Все это естественно, но все это едва ли утѣшительно. А между-тѣмъ благородство *направленія* не подвергается никакому сомнѣнію.

Скажу болѣе: въ настоящую минуту наша литература почти исключительно руководствуется благороднѣйшими чувствами. Послѣ той общей картины полемики, которую я набросалъ вамъ въ крупныхъ чертахъ, естественно является вопросъ о главныхъ пружинахъ полемики. Какія бы плохія формы она ни принимала, она должна же въ чемъ-нибудь корениться. Дѣйствительно, и въ этомъ случаѣ справедливо, что ничто не бываетъ безъ причины. Причина для нашей полемики есть, и притомъ она есть истинно человѣческая причина, то-есть состоитъ въ идеяхъ, въ убѣжденіяхъ. Слѣдовательно сущность полемики хорошая, только форма не соотвѣтствуетъ этой сущности, форма — дурная, фальшивая, бесплодная.

Бываетъ у насъ брань и изъ одного удовольствія брани, то есть изъ того, что языкъ чешется; бываетъ брань и по чисто личнымъ, индивидуальнымъ расчетамъ; но вообще, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, лица служатъ представителями идей, кружки образуются по сходству убѣжденій. Убѣжденія — дѣло святое, а все-таки не мѣшаетъ понимать то, что самъ дѣлаешь и говоришь. Недурно бы было, если бы иной, славящійся твердостью убѣжденій, понималъ, что изъ этой твердости у него ничего хорошаго не выходитъ, а выходитъ только нетерпимость и фанатизмъ. Нетерпимость, по которой онъ готовъ

забросать камнями всякаго, кто только покажется ему несогласнымъ съ его убѣжденіями; фанатизмъ, по которому онъ слѣпо вѣруеть въ своихъ собственныхъ идоловъ и слѣпо глухъ ко всякому другому голосу и всякой другой мысли. Недурно бы было, если бы люди убѣжденій убѣдились, что однихъ убѣженій мало, что и убѣженіе ихъ и все на свѣтѣ можетъ быть зломъ, что напримѣръ вмѣсто плодотворной борьбы идей, оно порождаетъ слѣпоту и глухоту, при которой такая борьба невозможна, при которой только и возможенъ свистъ и личная полемика. Тамъ, гдѣ лица только того и ищутъ, чтобы сдѣлаться врагами, тамъ они и довольствуются тѣмъ, что смотрятъ другъ на друга враждебно, свистятъ и перебрасываются камешками.

Читая иныя полемическія статьи, нельзя не подивиться той искренности и прямотѣ, съ которою въ нихъ излагаются изумительнѣйшія вещи. И публика любитъ за это такія статьи. Она любитъ ихъ искренность и прямоту, любитъ тотъ жаръ, который служитъ имъ подкладкою, который проглядываетъ изъ-за хитрой и пестрой сѣти словъ. Можетъ-быть и долго еще будутъ находиться читатели, которые съ удовольствіемъ будутъ повторять:

Они немножечко дерутъ,
За то ужъ въ ротъ хмѣльного не берутъ
И всѣ съ прекраснымъ поведеньемъ!

Но вѣдь все-таки дѣло въ дѣлѣ, а не въ поведеніи. Что если заговорятъ иначе? Что если скажутъ: намъ надоѣла ваша искренность и прямота; мы сыты по горло вашею искренностью и прямотою; да нѣтъ ли же у васъ еще чего-нибудь, кромѣ вашей искренности и прямоты?

И дѣйствительно, являются какіе-то зловѣщіе признаки, о которыхъ я съ ужасомъ помышляю и о которыхъ страшно какъ-то и говорить. Начну издалека. Среди своей полемики нѣкоторые журналы договорились до вещи довольно опасной. Они утверждаютъ, что они *презираютъ* литературу. Припомните въ самомъ дѣлѣ, кто не потѣшался надъ нашею современною литературою, кто не отзывался о ней свысока? И дѣтская-то она, и забіячeskая; и вездѣ въ ней хаосъ и мракъ;

и отсталая она, и недозрѣлая и т. д. Таковъ общій голосъ. Отзываясь такимъ образомъ, можетъ быть каждый журналъ выгораживалъ однакоже самъ себя; но вѣдь это старая штука; себѣ—то каждый кажется лучше, чѣмъ другимъ.

И такъ можетъ—быть эти отзывы разовьются въ ясное недовольство литературы собою самою. Если такъ, то это сознание своихъ недостатковъ будетъ весьма полезно, и чѣмъ скорѣе оно совершится, тѣмъ лучше.

Но мнѣ приходитъ при этомъ въ голову другая, очень странная мысль: у меня шевелится вопросъ такого рода: не презираетъ ли общество литературу? Не будемъ пугаться и рассмотримъ это предположеніе съ надлежащимъ хладнокровіемъ. Презрѣніе общества къ литературѣ не есть у насъ дѣло новое или безпримѣрное. Оглянемся назадъ и мы увидимъ на примѣръ, что во все время Пушкина оно было довольно сильно. Маленькій кружокъ Пушкина и его друзей съ высокоуміемъ смотрѣлъ на огромное большинство тогдашней литературы. Взглядъ Пушкина былъ безъ сомнѣнія вполне раздѣляемъ и нѣкоторою частью тогдашняго общества. Теперь, издали, мы совершенно ясно видимъ, что этотъ презрительный взглядъ былъ правъ, что литература его заслуживала. Затѣмъ, когда сталъ писать Бѣлинскій, онъ опять удивилъ нашу литературу своею строгостью. За Бѣлинскимъ, какъ извѣстно, шла толпа лучшихъ людей его времени и слѣдовательно опять была избранная часть общества, которая презирала многихъ тогда процвѣтавшихъ дѣятелей. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ настоящее время наша литература менѣе, чѣмъ когда—нибудь заслуживаетъ презрѣнія; мы все—таки замѣтно ушли впередъ, но нѣкоторая доля презрѣнія все—таки можетъ существовать. Если есть литераторы, которые презираютъ литературу, то гораздо больше должно быть число лицъ непишущихъ, которыя раздѣляютъ ихъ взглядъ.

Разглядѣть ихъ очень трудно, потому что у насъ вообще трудно подсмотрѣть отношеніе между обществомъ и литературою. Вслѣдствіе монополистскаго устройства, вслѣдствіе исключительнаго развитія журналистики, наши критики и публицисты рѣзче чѣмъ гдѣ—нибудь

отдѣляются отъ общества. Половина нашихъ дѣятельныхъ литераторовъ — срочные журнальные работники. Слѣдовательно литература ограничивается немногими лицами, и она далеко не составляетъ органа всего общества. Литература еще не вошла вполнѣ въ наши нравы; множество образованныхъ людей никогда не вздумаютъ взять пера въ руки. И по всему этому легко можетъ быть, что внѣ литературы составила или еще составляется масса образованныхъ людей, которые чѣмъ яснѣе сами участвуютъ въ литературѣ, тѣмъ хладнокровнѣе и строже ее судятъ.

Признаюсь вамъ, мнѣ было бы пріятно такъ думать. Наша литература, положимъ, прекрасная литература; но хорошо бы было, если бы общество стояло выше даже этой прекрасной литературы. Самодовольство есть вещь весьма опасная. Я всегда съ нѣкоторымъ огорченіемъ встрѣчалъ признаки самодовольства какъ въ частныхъ лицахъ, такъ и въ литературѣ. Прекрасно бы было, еслибы это самодовольство исчезло въ литературѣ до послѣдняго слѣда. Писатели не будутъ такъ развиты и свободны въ своихъ движеніяхъ, но это ничего. Когда передъ ними какъ призракъ будетъ постоянно мелькать суровый ликъ общественнаго мнѣнія, они конечно не такъ легко будутъ принимать на себя видъ его руководителей и представителей; но за то, я надѣюсь, они станутъ болѣе усердными и менѣе небрежными служителями общества. Они не будутъ уже кокетничать съ публикою и стараться ей понравиться, какъ малому ребенку; они перестанутъ шалить, какъ скоро замѣтятъ, что публика не ребенокъ, а грозный судья, который за ними наблюдаетъ. Весьма полезны тѣ литераторы, которые пишутъ для *особой* публики; они имѣютъ полное право приноровляться къ ней и писать не спроста, а такъ, чтобы угодить *своей* публикѣ. Но должны же наконецъ у насъ явиться и такіе, которые пишутъ для публики вообще, слѣдовательно не примѣняясь ни къ чему, а стараясь работать возможно лучше, по мѣрѣ силъ своихъ и средствъ. Должна же явиться у насъ и такая публика, которая не требуетъ, чтобы къ ней примѣнялись, а съумѣетъ безъ этого оцѣнить всякій истинный и полезный трудъ. Если такая публика у насъ уже есть, то тѣмъ лучше для насъ.

Я знаю, что опасеніе общественнаго суда вовсе не въ нравахъ нашей литературы. Но тутъ нѣтъ ничего дурнаго и скорѣе здѣсь видна хорошая черта — увѣренности въ сочувствіи другихъ. Наша литература не привыкла къ презрѣнію. Напротивъ, въ ней живо слышенъ голосъ юношеской самоувѣренности, которая не можетъ и подумать, что ее поймутъ дурно и посмотрятъ на нее косо. Такъ говорливый юноша ораторствуетъ съ благороднѣйшимъ жаромъ среди большого общества. Смѣло касается онъ самыхъ разнородныхъ вопросовъ, рѣшительно судить про всѣхъ и обо всемъ, и въ своемъ увлеченіи не замѣчаетъ, что многіе уже стали переглядываться и покачивать головами, слушая его юношескія рѣчи. Не будетъ большой бѣды, если онъ наконецъ замѣтитъ, что его слушаютъ уже не съ тою благосклонностью, съ какою встрѣтили его первыя рѣчи. Благородному юношѣ съ его неподдѣльнымъ жаромъ легко поправить дѣло. И дѣло отъ этого не только не проиграетъ, а напротивъ, бесконечно выиграетъ. Онъ заставитъ уважать себя всѣхъ, и всѣхъ прислушиваться къ своему голосу.

Когда говорятъ о недостаткахъ нашей литературы, то всегда припоминаютъ, что она встрѣчала препятствія въ постороннихъ для нея обстоятельствахъ. Замѣчаніе справедливое, и предметъ этотъ стоитъ полнаго вниманія. Дѣйствительно, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ литература наша получила не совсѣмъ правильное развитіе. Мы не видимъ своихъ границъ, мы не сознаемъ хорошенько что мы дѣлаемъ; мы, какъ фантасты, готовы вообразить себя рыцарями и ежеминутно принимаемъ свое перо за смертоносное копье... Обстоятельства можетъ-быть дѣйствительно повредили нашей литературѣ. Но жалобы на обстоятельства имѣютъ въ ней ложный тонъ, оскорбляющій мое ухо. Поясню дѣло примѣромъ.

Вообразите купца, котораго дѣла идутъ очень дурно, который всюду находитъ неудачу. Какой жалобы всего естественнѣе ожидать отъ него? Если вы спросите его самого, онъ непременно пожалуется на свои обстоятельства: тотъ надулъ его, тотъ не представилъ вовремя товара, тамъ случилась буря, тамъ неурожай и проч. Весьма возможно, что

обстоятельства дѣйствительно виноваты въ бѣдствіяхъ купца; но для васъ конечно интереснѣе вопросъ, дѣйствительно ли невиновать самъ купецъ. Попробуйте же спросить постороннихъ, обратитесь къ сосѣдямъ, и посмотрите, что они скажутъ. Они навѣрное станутъ говорить, что купецъ вашъ не умѣлъ примѣниться къ обстоятельствамъ и т. п.

Но этого мало. Легко можетъ быть, что вы услышите такія рѣчи: куда-де ему въ торговлю соваться! Найдутся люди посмышленѣе его и побойчѣе! Зачѣмъ же ему было давать потачку? Извѣстно, дѣло торговое, подѣломъ ему!

Такъ что изъ обстоятельствъ вывести заключеніе чрезвычайно трудно. Не знаешь, не то извинить купца, не то бранить! Самому же купцу всего важнѣе сознавать, что произошло отъ обстоятельствъ, и что отъ его собственной вины. Если купецъ самъ дѣйствительно не виноватъ, тогда онъ можетъ, на примѣръ, съ твердостью просить помочь ему. Онъ постоянно былъ акуратень; всему виною были обстоятельства, и слѣдовательно ему можно дать займы денегъ. Но совершенно другое дѣло, если кто-нибудь приступить къ вамъ съ такою жалобою: я разорился не только отъ обстоятельствъ, но и отъ собственного неумѣнья и нерасторопности; но дайте мнѣ денегъ — и я, клянусь, буду впередъ акуратнѣе.

До свѣденія одного изъ нашихъ (даровитыхъ впрочемъ) литераторовъ достигло, что его называютъ невѣждою. Чѣмъ же, вы думаете, онъ утѣшился и чѣмъ защитился? Онъ отвѣчалъ, что были люди, которые и Гегеля, и Канта, и Декарта называли невѣждами. По моему мнѣнію, весьма слабое утѣшеніе! Конечно, весьма *возможно*, весьма легко можетъ случиться, что человѣка на самомъ дѣлѣ свѣдущаго назовутъ невѣждою. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Упомянутый литераторъ въ дѣйствительности все-таки можетъ быть невѣждою. Такъ точно иногда дурно защищаютъ и утѣшаютъ нашу литературу. Весьма возможно, что только вслѣдствіе обстоятельствъ у насъ нѣтъ ни Гегелей, ни Кантовъ, ни Декартовъ; но въ дѣйствительности можетъ-быть и мы совершенно неспособны произвести ни Гегелей, ни Кантовъ, ни Декартовъ.

Главное наше зло безъ сомнѣнія въ томъ, что мы живемъ въ фантастическомъ мірѣ и не можемъ разглядѣть нашего дѣйствительнаго положенія. Литература всегда будетъ и должна быть служительницею общихъ идей; только въ нихъ ея сила. По самой сущности дѣла, передъ общими авторитетами науки, искусства, поэзіи все должно одинаково преклоняться. И публика плоха, если она не понимаетъ ихъ и принимаетъ за нихъ что-нибудь другое, чѣмъ и забавляется; и журналы будутъ пустословіемъ, если они вздумаютъ помимо ихъ служить чему-нибудь другому. Шутить или легкомысленно обращаться съ авторитетомъ науки и искусства — невозможно. Этотъ авторитетъ есть достояніе, пріобрѣтенное цѣлою жизнью человѣчества. Существованіе этого авторитета есть признакъ того, что въ человѣческой жизни уже не можетъ быть хаоса и колебанія, что она уже не можетъ распастись на атомы. Человѣческая жизнь въ извѣстной степени уже окрѣпла, выработалась, сложилась; она уже не просто жизнь, и никогда не можетъ быть просто жизнью, она есть *жизнь историческая*. Человѣчество выработало себѣ почву, твердыя точки опоры, исторію. Въ настоящее время человѣку уже невозможно отказаться отъ исторіи, невозможно быть отдѣльнымъ, такъ сказать первозданнымъ человѣкомъ, невозможно разорвать свою связь съ общимъ человѣческимъ міромъ.

И дѣйствительно, какъ ни хаотичны бываютъ явленія нашего литературнаго міра, очевидно они не могутъ, *не смѣютъ* отказаться отъ общаго авторитета науки и искусства. Журналь, хотя бы и не хотѣлъ беззавѣтно служить и исключительно подчиняться этому авторитету, никакъ однакоже не можетъ отказаться ни отъ науки, ни отъ поэзіи. И большею частію вся бѣда въ томъ и состоитъ, что такъ или иначе, но только во что бы то ни стало, нужно являться передъ публикою и тонкимъ критикомъ, и жаркимъ поборникомъ науки. Отсюда проистекаютъ величайшія странности. вмѣсто того чтобы говорить о томъ, что его дѣйствительно занимаетъ, писатель бессознательно берется за то, что ему чуждо и при томъ выказываетъ полную самоувѣренность. Мы-де и поэзію понимаемъ, и очень тонко можемъ судить о нашихъ поэтахъ; мы и философію отлично знаемъ, и исторію

разумѣемъ не хуже другихъ, да и въ химіи тоже маракуемъ. И вотъ вслѣдствіе этихъ большихъ претензій творятся дѣла, достойныя смѣха. Пишутся критики и умныя статьи, въ которыхъ поэзія и наука извращаются самымъ благонамѣреннымъ образомъ... Конечно, наукѣ и поэзіи при этомъ нечего бояться; но какъ не побояться за тѣхъ, кто съ ними неосторожно обращается?

Н. К.